

## Дунькино счастье

— У меня, мил-моя, такая пролетарская происхождения — даже самой удивительно — какая я чистокровная пролетарка. Уж такая пролетарка, такая пролетарка, — ни одной подозрительной кровиночки во всём нашем роду не сыщешь. Что по матери, что по отцу. Все сызмальства крестьянством на подбор занимались, а тесть даже и скончался в пастухах. Скажет ему, бывало, Захар Кузьмич — был у нас на селе лет тридцать назад лавочник, кулак страшный: «Торговал бы ты хоть дёгтем что ли, — скажет, — что за жизнь: коровам хвосты крутить». А тесть мой в ответ: «Дык ведь как сказать, Захар Кузьмич, как они коровки-то обернутся, ты её дёрнешь за хвост, она и обернётся». А оно вон и вышло — как обернулись! Удивительный сознательным старик был, и всё, бывало, нюхает табак и молчит, от него и я загадочно молчать попривыкла. Так мы все в дедов и вышли — крепко приверженные к своему классу, да только в деревне какое же житьё! Вот начну я так-то иной раз вспоминать свою жисть с самых пелёнок, — веришь ли, мил-моя, так защемит сердце, захолонёт словно пойманный птенчик... По брови в снегу жили, а летом, в поле с тоски удавиться можно: никакого удержу у нас полям нету, окромя неба... А хозяйство опять же обыкновенное, — никакое, можно сказать, хозяйство: лошадёнка — воз больше на себе везёшь, корову только-только перед германской войной купили; да на беду не взяли в мобилизацию отца, — многие у нас в войну бабы от детей отдохнули, ну, однако, отец остался, и почали тут одна за другой рождаться дети, и больше девчонки... Мать, бывало, только с пузом и ходит да плачется: «И на кого я вас, оглашенные, рожаю?..» Конечно, и мёрли, а всё же пятеро осталось, в одну одежку по очереди влезали. И всех-то я их вынянчила и росла-то так до шестнадцатого году — от одной люльки к другой, сестричек своих пестовала, и только и радости бывало, что пойдёшь в поле, а поле у нас, говорю, страшное огромное, от Зелёной Слободы кидается в овраги, и по оврагам кусты, — нарву там цветочков, курослепа какого, иван-да-марьи, дикой черёмухи, и бреду опять в сумлении к своим люлькам. И очень было мне тягостно, когда подойдёшь к своей избе с цветочками в руках, а плетень сломан, под сараем колесо валяется, окно в избе подушкой заткнули, а на дворе, словно червяки в пыли, мои прекрасные сестрицы...

Задумаюсь, бывало, я вот так-то о человеческой своей судьбе, — самой страшно: какие в голову мысли лезут! Очень я рано задумываться начала — маменькина-то жизнь вот она, перед глазами... Смотрю, как она в жёлтой своей кофтёнке — поповна ей дала за мытые полы, она в той кофтёнке всеё своё жисть проходила — смотрю я на неё, как она картошь перебирает, или навоз с-под-коровы чистит, — руки у неё чёрные, в узелки завязлись, лицо восковое — враз с картины страшного суда, зуба ни одного не осталось, всем кошельком жуёт, и только один живот тяжёлый в ней и есть. Смотрю на неё и плачу: «Ох, охоньки мне, девушке, не такая ли счастье меня ждёт, судьба моя из маменькиных глаз проникает». А в девках я прекрасная хорошая была; запою, бывалача, — парни только рты поразинут, стоят словно ошпаренные; коса моя всем девкам на зависть; и в руках замечательная проворная была: горшки ли в печи, чугуны с бельём проворочать? А в поле с серпом наперёд всех уйду, так и врежусь рекой в горячую рожь. Да только к чему ж она, красота-то на деревенском дому? На деревне кра-

сотой судьбы своей не изменишь... И стала я так задумываться да размышлять; сижу, бывалача, на завалинке, качаю Алёнку, там, или Маньку, у ног моих цыплята землю скребут, тоже жизни просят, в доме нету никого: на покос уехали, греет солнышко мою щёку в слезах, а перед глазами у меня туман, — вредный туман, как на реке, поднимается, — и так мне жутко станет среди бела-то дня, будто вечером я и одна в реке, в Чёртовом Яру купаюсь. Ух, ты, поле, поле большое, ох, судьба ты моя неизвестная!.. А она, судьба-то, очень известная, какая на деревне судьба! — все на глазах у соседей прожили, всякому загодя известно, что его ждёт. Вот, думаю, выйду и я замуж, буду рожать почём зря, а сама буду длинная да страшная, и глаза у меня завалятся, как на иконе, и будут у меня в сундуке спрятаны полсапожки и шаль, и буду я их надевать на праздники, — и так и помутнеет от той мысли в глазах, и так страшно станет, что будто не жимши я, а прожила уж, — такая у нас на деревне, всем известная наша судьба!.. А исполнилось мне шешнадцать лет, стал тятенька туманные слова заговаривать: «Очень, говорит, ты на мене не надейся, потому много вас у меня растёт, чересчур даже много жизни вокруг меня подымается, а ты, говорит, девка уже на выданьи, но только время теперь очень самостоятельное, и можешь ты сама правое добиться от жизни, а богатство твоё в твоём девичьем блюде только заключается, если, например, оно у тебя целое». Поняла я тут, что на лошадь он намекает: «Не дам, мол, тебе лошади, как замуж пойдёшь, не надейся, мол», — и загрустила ещё больше. Только бы, думаю, вырваться куда из села, и тогда предстанет моей жизни новая деталь, и не будет у меня маменькиного заветного сундука, а она уж тот сундук опорожнила, чтоб приданое мне собирать, и не видит, конечно, что я на тот сундук взираю со слезой, что в нём-то моя темница и спрятана.

— Маменька, — говорю, — не собирайте мне ваш сундук, я в мечте другое имею...

— Дура ты, — отвечает, — на тот сундук Наталка засматриваться начинает, — четырнадцатый год девке... что ж от своего счастья отказываешься?

— Маменька, — говорю, а сама плачу чисто весенний какой ручеёк, — нет мне счастья на дне вашего сундука... Всеё жисть я наблюдаю, и своего случая жду, чтоб на волю из нашего села пробиться... И знаю, — говорю, — ещё про то, что повсюду, окромя нашего отсталого села, большая слобода женщине дадена, и каждая свою судьбу сама привлекает.

Как вскинется она, и вижу я: слёзы у неё пошли, а глаз взапуски меня наблюдают, но только я хладнокровно ей говорю:

— Вы, маменька, не сумлевайтесь... ненарушенная я, и девичье своё дело тонко веду, а только поклялась я себе над речкой, поклялась над омутом, — вижу: старуха дрожмя дрожать принимается, и режу до конца: — поклялась я, маменька, над тёмным тем омутом, что скорее в омут головою, чем вашей жизнью прожить и от слёз ослепнуть...

— Мы, — отвечает, — честную крестьянскую жизнь прожили, вот она, — говорит, — моя рука, копыто, — говорит, — всю жизнь не разжимала, так и помру с серпом, всегда свой трудовой кусок ели...

— Про то, — отвечаю, — маменька, вам никто и не прекословит, про то теперь и рабочая крестьянская власть дадена, а только жизнь идёт наперёд и на полсапожки с полушалком я никак не согласна...

— На что ж ты, — спрашивает, — согласна, дура горемычная?

— Про то, — говорю, — моя думка знает, про то моё сердце, как воробышек, бьётся...

Тут она и просып всё начистоту:

— Зря ты, Дунюшка, надежду таишь, — всё одно отец лошади со сбруей тебе не даст... Петяшке, говорит, лошадь... Петяшке и сбрую...

Вижу, очень далеко она вглубь смотрит, а сама думаю: «Ну, ладно, может, мне вашей лошади и не нужно, но пусть уж по-вашему будет»... И стал у неё с того разговору голос очень придирчивый, даже не смотрит на меня, — обедать сядем — норовит куском обнести, два слова скажет, а третьим подавится...

— ...Ты не сумлевайся, Грунюшка, наливай кофейку ещё и сахару клади в накладку... мы в этом нынче не нуждаемся...

Томила я так — не знай! — год ли два, а всё ж дождалась своего счастья. Приехала к нашему попу тая поповна, что матери кофту за полы дала, была она в Москве акушеркой, — как раз в самую революцию от нас съехала и попу своему сказала очень жестоко: «Вы, говорит, своим происхождением меня навеки уязвили, и одна мне путь-дорога в жизни осталась — акушеркой быть, свободной прохвессией заниматься». Так акушеркой и была, и — слышно было — роскошно в Москве живёт, и замужем за артистом сцены, и ботинки на высоком каблуку почём зря по будням носит. Да, видно, дочернее-то сердце не стерпело: как стал поп прихварывать, да по советскому времени сам косою на поле махать, — приехала к нему летом навестить, и вижу: шляпка на ей чугуном, и жакетик жёлтого цвету, и ботинки, действительно, на высоком каблуку — так в самую грязь ими и чешет. Идет, бывалача, под вечерок по деревне — стадо тебе тут гонют, пылище, бараны мордами в ворота прутся, самая окаянная страда, — идёт она эдак, и понимаю я, что очень она нас, деревенских, жалеет, от гордости от своей жалеет: то ребёнка какого по головке погладит, то пришла раз у роженицы научно дитю принимать, очень, говорила, трудный на практике случай из-за не такого тазу, а баба родимши на другой день куру ей понесла, и не взяла она той куры, и поп по тому случаю вконец огорчился. И так это мне душенька её словно на ладонке видна, и стала я задумываться, что пришёл случай моей жизни, — вон он — идёт по деревне, от пыли платочком обмахивается, и, веришь, девушка? — до того я в задумчивости моей дошла — увижу её, бывало, задрожу вся беспричинно, руки ходуном зайдутся, а в глазах будто кто на огневых колёсах едет. Звать её начала про себя: «вон, Дунюшка, планида твоя идёт, счастье твоё с платочком путешествует»... Ну, по прошествии некоторого время насмелилась я с нею заговаривать. Выдет она куда на лужок или к речке — время в мечте своей провести, а я и вот она: тоже гуляю, словно у меня и делов нет, и Петяшка в люльке не орёт, как оглашенный какой чёрт!..

— Здравствуйте, — прилично говорю, — Клавдия Ивановна! Очень погода нынче чтой-то прелестная...

Усмехнётся она вбочок, губки подкрашенные подберёт:

— Что-й-то ты, Дунюшка, погоду примечать стала... это, — говорит, — не к добру... Мы, — говорит, — люди, погоду не примечаем, пока у нас сердце не тронутое...

Вижу — чюдно она говорит, но догадки, конечно, не даю.

— У нас, — говорю, — какое же сердце?.. Маменька с папенькой нас про сердце не спрашивают...

— Али, — говорит, — спрашивать время пришло?

«Вон, — думаю, — куда сигаешь?» Враз поняла: про Андрюшку намёк даёт, но всё-таки свою линию веду:

— Наша, — говорю, — девичья судьба — что ягода в поле! Одного дня ей цветения... Вся, — говорю, — красота наша деревенская, у кого если она и есть, в один день изничтожается... Наша судьба горькая как полынь-трава, и выхода из судьбы нам нету...

— Что ж, — спрашивает, — так печально на свою жизнь взираешь в молодые годы? Всяк своей жизни кузнец. Всяк, — говорит, — устраивает её, как умеет! — а сама ни к чему на былинку смотрит, и вижу я: на глазу у ней слеза висит, — шутя платочком слезу ту отёрла ей.

«Кузнец-то, — думаю, — кузнец, да вот и ты плачешь! Не очень она легко — жизнь-то ковать, это тебе не подкова какая-нибудь»... Говорю тебе, девушка, откровенно, ужасно я в ту пору сообразительная была и про всякую мысль понимала, словно глазами её видела...

— Не подкова, говоришь? — тихо она это сказала, а потом засмеялась беспричинно и платочек бросила. — Пойдём на реку купаться! Будем, как две русалки, плавать!

Пришли мы в Чёртов Яр, разделась я, она и замечает:

— Очень у тебе тело красивое... много, — говорит, — я по своей практике телов вижу, и к такому печальному выводу пришла, что редко бывает у женщины красивое тело... А если и бывает, разве на деревне...

— А что же, — отвечаю, — нам с тела чай пить, что ли? Вон моя маменька первая на селе красавица была, а какая превратилась теперь моя маменька?

— Не цените, — говорит, — вы красоту... проспали загадку жизни всей, а она и есть одна настоящая правда... У вас, — говорит, — тут — простор, леса, птички поют, у вас, — говорит, — счастье под каждой былинкой живёт, с каждой бабочкой с цветка на цветок перелетает, и в реченьке, как русалка, прячется!

Сняла она рубашечку с кружевом, палталончики наскрозь прошитые, примечаю я — тоненькая, худенькая, и две груди, словно, прости господи, собачьи тити, висят... А я, сама знаешь: грудь как топор, крепкая я, хорошая была...

— Завидую, — говорит, — тебе, Дунюшка, очень завидую твоей первобытной красоте...

И тут-то вот я и насмелилась:

— А я, — говорю, — вам завидую, Клавдия Ивановна... — сказала, а сама захолонула вся...

— Чему ж, — спрашивает, — завидуешь?

— Тому, что жизнь у вас прелестная, что в городе вы, и живёте по своей собственной воле, не на мужниной спине, как таракан на собачьем хвосту...

Сникла она, как цветочек, и отвечает печально:

— Раньше в теремах лучше жили... наше, — говорит, — бабье счастье в терему обретается...

Не поняла я — к чему она про терема указывала, но только стали мы с ней вроде как подружки: всегда идём вместе, в лес ли за ягодами, за грибами, в поле жать ездили... И такая повелась у нас дружба, словно мы с ней родные сёстры, и так выходило, что будто я-то — старшенькая, а она младшенькая, вроде Наталки, и всё говорит мне, бывало: «Твоими устами сама жизнь говорит: поле, лес и река, и ты сама не понимаешь, как всё то замечательно!» Я, конечно, тоже дурочкой прикидываюсь, про цветочки поддакиваю, а на самом деле очень понимаю, к чему мои речи и куда цель веду. А виду ей, конечно, не подаю, да и в самом деле очень к ней привязалась, и за неё от папеньки крутой разговор вынесла. «Какая, — кричит на меня, — она тебе канпания, ты, — говорит, — на выданьи, ты про своё дело должна задумываться, а не лясы точить почём зря!» «Папенька, — отвечаю, — каждый своего счастья кузнец, и сказывает моё сердце, что принесёт мне счастье Клавдия Ивановна, и не мешайте мне свой случай обеими руками ухватить!» «Какое, — счастье, ай родить собираешься?» — стал он в ту пору про мои дела с Андрюшкой соображать, — и, верно, очень мне Андрюшка нравился, да только как я — голь перекатная, и всё ходит, бывало, возле нашей избы: то попросит топор, то косу отбить, то ещё чего... «Нет, — отвечаю, — тятенька, не тряси-тесь от страху, я вас своей судьбой не опозорю, не придётся вам с маменькой по деревне в хомуту бежать» — сама знаешь, как еронично приходится родителям в хомутах, если девка не целая... Однако, ничего! Такого у меня с Андрюшкой не было, держала я в мечте наперёд свою жизнь сковать, а потом их, Андрюшек-то, сколько хошь най-

дётся, только свистни... Стали мы с ней словно подружки какие, прохаживаемся по полю в обнимку, цветочки-ягоды собираем, или поём. Бывало, залюсь я в лесу соловьём, хвачу во все груди — только стон по лесу пойдёт, птицы и те примолкают: очень любят птицы человеческую песню слушать. Сядет она под кустиком, где придётся, тоненькое личико ручками подопрёт, и слушает-слушает, словно неживая. Понимаю я, конечно, что у неё на груди своё горе есть — заливаюсь ещё жалостнее, до самого дна песней достаю. Заплачет она, и я плачу вместе с ней, а сама и не знай о чём! А раз принесла ей с почты письмо, — лежала она на бережку под зонтиком, печально смотрела, как паучки по воде вьются и не тонут, — ухватила она то письмо, — дрожит, личико перекоилось, а распечатать боится.

— Жизнь ты мне принесла, аль смерть? — спрашивает меня, а в глаза мне не глядит, будто я знаю, про что письмо написано

— Вскрой, — кричит, — сама вскрой.

Распечатала я то письмо, глянула она цепким оком, ка-ак бросится мне на шею! «Никогда, — кричит, — этот прекрасный момент я тебе не забуду!» И вдруг ослабла совсем, легла на траву, еле дышит. «Поцелуй, — говорит, — ты мене, крепче, поцелуй, чтоб душу выпить!» Поцеловала я её, бьётся она в моих руках, как овечка, и глазки закрывает. А я, конечно, соображаю про себя: «Ну, пришёл, наконец, решающий день жизни, надо подкову ковать, уедет она теперь, обязательно уедет назад в Москву, и останусь я люльки качать!» — подумала так, — ка-ак зареву...

— Что ж ты, — говорит, — плачешь, сестра моя? Теперь радоваться надо!

А я сквозь слёзы:

— Уедете вы, Клавдия Ивановна, и про все наши цветочки забудете, останусь я своё немудрое счастье ковать, и закуюсь в маменькины, да в свои люльки на всеё жизнь, и завянет моя душа, которая, может быть, тоже мечту имеет...

— Глупая, — отвечает и смеётся, — глупая ты... приезжай ко мне, я тебе очень даже устрою... Вот, — говорит, — мой адрес, прижмёт тебе невтерпёж — напиши мне письмо. Я, — говорит, — благодаря тебе, может быть, ума не решилась... А добро разве забывается?

А мне только этого и нужно. Спрятала адрес подальше, и стали мы с того дня к отъезду готовиться. Хожу я, словно неумытая, в глаза ей печально смотрю, а то уткнувшись в коленки и плачу. Тут же вскорости она и уехала...

— ...Постойко-сь, я кофейку подварю. Ты, девушка, не отказывайся, да и я с тобой в компании чашечку выпью.

Уехала она так-то из Зелёной Слободы, а для меня, — веришь ли? — словно звёздочка закатилась. Оно, конечно, может, и дожила бы я свой век в Зелёной Слободе, и наверно подходяще дожила бы... Ну, вышла бы за Андрюшку, ну, оттягала бы сётаки у тятеньки лошадь с хомутом — теперь и женчине в деревне мужские права дадены, — нет! вступила мне в голову после отъезда Клавдии Ивановны мечта со всей невозможностью, не могу хладнокровно смотреть на наше житьё, да и всё тут! В поле выйду — серп в руках верёвкой заплетается, в ухо словно дьявол какой шепчет, и всё башмачки её в глазах мельтешут. И стала я детишек почем зря шпынять: мало вам матери, меня сосёте! Тому, бывалача, пинка загвоздишь, того крапивой причешешь, а тут ещё горе горькое пало на бедную мою головушку, словно роса на цветок... Улестил ведь меня Андрюшка-то! До сей поры не могу в толк понять, отчего тая беда приключилась, а только пошла я с ним в лес по хворост, и нарушил он меня, сиротинушку, почём зря... И то сказать: первый насмешник в деревне и гармонист, из себя всегда аккуратненький, сапожки лаком, рубашечка нараспащечку, и привёз с войны замечательные брюки-клёш...

— Ты, — говорит, — не сумлевайся, если что — я на тебе и жениться могу!

— Ирод, — говорю ему, — ирод ты, сукин ты сын, да на мне всякий человек женится, потому нет супротив меня во всей округе девки, а мешают мне с тобой век скоротать мечта...

— Какая же, — спрашивает, — у вас, Евдокия Степановна, мечта? Может, ваша мечта под мою подходит, потому я, — говорит, — тоже для своей жизни не мерзавец, и очень даже к ней, собачке, за время военно-гражданских моих подвигов внимательно присмотрелся...

— К чему это, — спрашиваю его хладнокровно, — ты присмотрелся-то, подлец ты эдакий?

— Я, — отвечает, — всегда, когда мне в мёртвую схватку с глазу на глаз с человеком идти приходилось — то ли в ерманском каком окопе, то ли в гражданских моих подвигах — всегда, — говорят, — как прижмёшь его, сукинова сына, к гробовой доске — всё норовишь, бывало, душу ему наизнанку вывернуть... Какая она у него, недотрога? А вообще, — говорит, — Евдокия Степановна, я держусь такого взгляда, что душа — пар: сколько я этих душ загубил, а ничего хорошего про то не увидел...

А сам дымок поверх усов пускает и небрежно бьёт хворостиночкой по лаковому сапогу. И поняла я тут: заражённый он парень, все они, ироды, с войны помутнелые пришли и никак правильного пути-дороги отыскать не могут.

— Нету, — говорю, — Андрей Михалыч, у нас с вами общего пути, вам — остепениться надо, а моя дорога к другой мечте лежит, мне, — говорю, — всё с рубашки начинать надо, не говоря уже о полсапожках... а была, — говорю, — у меня одна богатства — девичья моя честь, да и той лишили вы меня почём зря!

— Ну, — отвечает, — эта богатства немудрёная, если, — говорит, — чего такого — я завсегда ответ готов держать, и жениться на вас могу с полным уважением, будто, — говорит, — вы не нарушены, и в целости себя соблюли...

А сам, конечно, прицеливается — как бы ему без скандалу делу притушить? И скажи ты мне, девушка моя милая, отлично понимала я про мужское непостоянство, и цену им, кобелям, знала, а поддалась словно курица... Да только вышло, что горе моё горькое мне же на радость повернулось...

Ох, и боролась же я за своё счастье! Зубами, Грунюшка, ногтями по кусочку вытягивала, чтобы пришло оно, как солнышко красное, и обогрело мою сиротскую жизнь... И то сказать: посмотри, как я теперь живу, — вон у меня даже рояль в углу без надобности стоит, а хочешь сейчас граммофон тебе заведу, про артистку Варю Панину, очень замечательно поёт «Наш уголок я убрала цветами»...

Так вот в осенний один вечер, когда повёз тятенька в город сельналог и вернулся окончательно выпивши и даже без последних сапогов — собрала я своё имущество, обошла двор наш — в последний раз с ним повидалась, — и отмахнула пешочком двадцать три версты на полустанок, да в Москву и прямо к Клавдии Ивановне, да прямо ей в ноги — вышла она в белом халатике в переднюю комнату, — обхватила я её за холодные коленки, и плачу-убиваюсь: «К вам, — рыдаю, — к своему ангелу-хранителю пришла, больше мне податься некуда, прогónите — всё одно, что в пролубь!» Удивилась она очень: «Как же, — говорит, — ты, Дунюшка, без письма? Ты бы мне письмо прислала, у нас в Москве такое переполнение людей, что тебе даже переночевать негде, да и что ж ты в Москве будешь делать? Нет, — говорит, — никак невозможно, что без письма приехала!» Я, конечно, рыдаю искренне, глотаю горькую свою слезу, а сама думаю: «Написала бы письмо, ничего бы и не получилось, — забыла она про цветочки-ягодки, ни за что бы не дозволила по письму приехать!..» А приехала — будь что будет! «Клавдия Ивановна, — говорю, — не губите, нет у меня на свете ни одной доброй души, окромя вас! Вспомните, — говорю, — вам счастье в письме принесла, может, и теперь счастье приношу... Я, — говорю, — тут вот, в передней вашей комнате на сундучке помещусь, как пёс буду вас стеречь!» Посмотрела она невидящим

глазом, вижу: думает про себя, чего — понять не могу, однако, говорит: «Хорошо, а теперь идём чай пить, Дунюшка, очень ты меня удивила своим приездом, свалилась, как снег на голову»... И, вправду, характер у меня очень решительный: заберётся что в голову — никаким каким оттуда не выкурить, всё сверлит и сверлит, давит на самую душу, пока не добьюсь своего.

Входим мы с ней, значит, в эту самую комнату, остановилась я на пороге и глаз отвести не могу. «Господи, — говорю, — до чего ж некоторые люди роскошно живут!» Не хуже твоего, — присела на канapé, и сесть-то боюсь, сижу краешком и. смотрю, как дура, на рояль, а она и говорит: «Ты, Дунюшка, обожди минуточку, у меня секретная беременная на приёме, я мигом ослобонюсь, посидим мы с тобой всласть и вспомним все золотые наши денёчки в Зелёной Слободе... и если бы, — говорит, — моя воля, — убежала бы из города без оглядки на природное лоно, жила бы всей грудью, как живётся!» Что ж, конечно, с неё взять: городская она, не понимала нашего крестьянского житья... «Цветочки, ах какие замечательные цветочки!» — а мы, небось, и не видим этих цветочков, хоть по брови в цветочках живём...

Ослобонилась она от секретной, сидим мы с ней, пьём, конечно, чай с баранками, сухариков она положила в тую вазочку, и примечаю я, что уж с лица то она посветлела, попривыкла ко мне, значит, и мысль-то у неё работает, значит, на мою мельницу: как и что! — а тут вскорости и муж её пришёл, влетает эдак фертом и пиджак-клёш, и брюки, конечно, в полоску, и бант на плече лежит словно лента, а из себя прямо скажу — фигура и мелкий, только и есть, что взгляд пронзительный, да и пьяный уже, и говорит, усмехаясь:

— Это что за птица?

— Никакая, — отвечает Клавдия Ивановна, — не птица, а Дунюшка из Зелёной Слободы, и я тебе о ней говорила, — а сама глазами на него, прищуривает глаза-то, но вижу я, что опять же за меня прищуривает, не зло, а с любовью... «Ну, — думаю, — моё тонкое дело всё же не пропащее, в аккурат выходит моё дело...» Стал он, как статуя, и говорит:

— Дунюшка так Дунюшка, мне это без особенного внимания... А дай ты мне из верхнего сундука фрак и залакированные ботинки, и ещё, — говорит, — пора бы отыскать запонки, что мне в городе Липецке за роль мою поднесли пролетарские студенты, их, — говорит, — я бы хотел на память на самом виду носить! А Дунюшку свою как хочешь, так и устраивай, я, — говорит, — очень хладнокровно отношусь к этому вопросу, и притом же тороплюсь...

Ушёл он в другую комнату переодеться, а оттуда, — гляжу, — прёт прямо на меня в одних розовых подштанниках, умылся, однако, в ванной комнате, одеколоном помазался, и — как оделся — совсем даже ничего, красивый, а только, конечно, куда же ему против Андрюшки — щуплый, жухлый, как прошлогодняя полова.

А моя-то смеётся бабьим смехом, платочек ему в кармашку суёт.

— Совсем, — говорит, — красавец ты!

Ему, понятно, лоскотно внимание, привстал он на носочки, словно в театре, ручкой размахивает:

— Адьё-с, счастливо оставаться!

Ну, а я тоже не душой на свет родилась, сейчас в переднюю, ухватила его пальтишку и подаю.

— Ишь ты, — говорит, — и не было прислуги, и вроде как бы есть прислуга!..

Так я у них и осталась: не то подружкой, не то прислугой, и очень даже прекрасно мы зажили. Встану, бывалача, утрешком — рань, спят они — он из театров поздно приходил, роли там играл замечательно и завсегда пьяненький, её по вечерам тоже редко видишь, — встану утрешком, всё приберу, ботиночки почищу — первое время очень стеснялись они, что я ботинки чищу, а я успокоила: «Мне, — говорю, — труда

никакого не составляет, я, — говорю, — заодно и свои полсапожки в чистоте содер- жу!» — натружу самоварчик, а к двенадцати пациентки стучат, то одна, то другая, и очень даже ловко в скорости времени научилась я с этими пациентками разговари- вать. «Прошу вас обождать, наша докторица вчера очень устали на приёме секретных беременных и спят ещё, но вскорости вас примут!» Ну, конечно, вру — была она вчера в театре, смотрела, как её Мишенька роль исполнял, и мне же потом в передней всю кофту проплакала: «Очень, — говорит, — замечательно он представляет, а вот поди ж ты... куда как пустой человек в жизни!» А Мишенька ейный в тот день под самое утро, как молочнице прийти, домой ввалился, шапка на ухе, лыка не вяжет, грохнулся в пе- редней на сундук, и пальто заблёвано, и опять же об одной калоше.

— Михал, — говорю, — Василич, не бережёте вы себя!

— Я, — говорит, — талант, и в огне стораю, — и плачет, и кулачком себя по заблё- ванной груди стучит. «Эх, ты, портач злосчастный!» Сгребла я его, втащила в комнату, пальто сняла, парчёнки с него сняла, сунула под одеяло, знаю, — завтра застыдится в глаза мне взглянуть. Очень он куражился, когда выпимши был, думаю — и пил боль- ше для куражу.

Стала я так-то у них всё одно, что своя. Я и в театр на трамвае съезжу, и вру там, бывалача, главному ихнему прямо в лицо: «Очень, мол, наш талантливый Михаил Василич разболевшись нынче», — а он, конечно, вчера по пьяному делу с лестницы ссыпался, все три этажа смерил, я и в лавочках кредит завела — тоже и так бывало — в получку икру почём зря лопаем, а то и картофель на постном масле жарим. И стала я присматриваться к жизни и привыкать, всё, бывало, думаю: что к чему? — и очень мне всё чудно сначала казалось. Конечно, городской человек по-другому живёт, на дни счёт своей судьбы ведёт, а взглянешь в корень — очень даже городские люди жизни не знают и живут почесть что как придётся и никогда не антиресуются, какое судьба им испытание приготовляет. Попривыкла я и к пациенткам этим самым. Иная придёт и ещё в передней наплачется: «Дома ли, — спрашивает, Клавдия Ивановна?» — а у самой губы синие, и глаза как таракане по углам бегут. Напаскудить, конечно, — на- паскудила, ну, а грех открыть — всё одно, что в деревне, бояться...

И делала им всем Клавдия Ивановна аборт, и многие, ей за то руки в слезах цело- вали, и называли какая она спасительница ихней жизни. Взглянешь на иную: шляпка новенькая, платице справненькое, каблуками по лестнице, конечно, стучит, а придёт к нам — сядет в передней комнате на мой сундучок, пальчиками перебирает и слова боится сказать. Страшное, конечно, это дело — аборт, страм от него большой, и всё- таки убийство оно, я так и полагаю: ребёночек, хоть и маленький в нутре, а всё-таки это чувствует... Однако выучилась я с ними управляться очень ловко, — какую подхо- дящим словом ободришь: «Неприглядное, мол, наше бабье дело, и если от всякого родить — места на земле не хватит». Иную, что помоложе, за плечико поддержишь, пока она в слезах раскаивается, — она и жмётся доверчиво, и глазками благодарит... И почал мне с той поры доход от них идти, то гривенник, то и весь рубль, и Клавдии Ивановне очень это нравилось. «Ты, — говорит, — мне помощница, опять моё счастье бережёшь!» — да вот оно и вышло счастье за решёткой сидеть!..

Пожила я так с месяц, и все меня в том доме признали, и к моей личности окон- чательно привыкли. Вечерком выйду, бывалача, к воротам на лавочку, и все здоров- каются: «Здравствуйте, Евдокия Степановна» — никто даже и не скажет: «Дунька», — как на деревне. Сядем, бывалача, на лавочку — время за семечками убить — и ведём замечательный разговор про существо жизни: — что на свете к чему и как, про звёзды, про жилищное наше товарищество, какие на свете подлые случаи бывают. И был у нас на дворе банщик один, он хоть и банщик, однако, из кандидатов в партии состо- ял, замечательный, сознательный был человек. «Я, — говорит, — в Сандуновских ба- нях служу, и мбю, — говорит, — десять, а то и пятнадцать человек ежедневно, и даже



иностранцев, и от них на всяких языках разговаривать научился». И верно — загнёт иной раз слово: «Аллес, — говорит, — фирман», или ещё круче: «Консоте пашот», — а я только спрошу: «Вы, может быть, Платон Петрович, по-матерному говорите, так я похабного не слушаю». «Что вы, — отвечает, — я даже в уме про похабное не держу, а говорю вам иностранные слова, чтобы закрепить с вами деликатность и смычку». «Что ж, — отвечаю ему, — я никогда не отказываюсь с умным человеком про жизнь разговаривать, всегда, — говорю, — интересуюсь узнать, как люди живут?» — а сама думаю: «Закрепит он мне такую смычку, что придёт самой к Клавдии Ивановне в секретный приём идти» — и положила с ним так: слушать всякие его иностранные слова со вниманием, — пусть покуражится, а воли рукам ему не давать... И всё-то, бывалача, спрашивает он меня: — как я живу, да как мои хозяева живут, да записали ли меня в союз, и прозодежду дают ли и в отпуск меня пускают ли? А я и слыхом ни про какой союз не слыхивала, и какая такая прозодежда? — а он бубнит в самое ухо: «Теперь, — говорит, — очень большие права всякой личности дадены, и никто те права нарушить не смеет, и прозодежду вменено в священную обязанность выдавать, — нам, — говорит, — в бане и то прозодежду выдают — передники из клеёнки, а уж какая, — говорит, — в бане может быть прозодежда? — и, кроме того, компенсация за неиспользованный отпуск, если, — говорит, — такой отпуск за пять с половиной месяцев заслужите!» Стала я, конечно, в его слова вникать, прошу только, бывалача: «Вы мне, Платон Петрович, объясните все ваши иностранные слова без утайки», ну, он скажет по-инострански, а потом и объяснит. И поняла я — много справедливого человек говорит, и про эксплуатацию и так, но только, конечно, окончательного виду ему не подаю, свои секреты тоже за зубами держу — примериваю, как лучше выйдет. А раз он мне и говорит:

— Ходят, — говорит, — по двору неофициальные слухи, что ваша хозяйка манипуляет незаконные аборты, а вы по гривенничку на чай собираете. Должен я вам про то сказать, что мастера обеспечены предприятием, и особого вознаграждения за труд не принимают. Я — говорит, — даже в бане, от голого человека на чай не беру, а отношусь к своему труду сознательно, да! И суть, — говорит, — тут в другом спрята-на, не в паршивом гривеннике, который может ваше пролетарское происхождение обидеть! Суть, — говорит, — в том, что за аборты под решёткой сидеть полагается, но если, — говорит, — всё то дело тонко поразмыслить, можно аллес фирман повернуть в нашу с вами пользу...

— Как же, — отвечаю ему печально, — поворочивать, когда за душой у меня ничего нету, а в деревне, сами знаете, мал-мала меньше, и тёмная я, как сама сатана?

— Очень вы, — говорит, — в костности ума заплесневели, хоть с лица собой совсем не вредные!..

Чувствую: намекает очень интеллигентно, а пенять не могу. Конечно, какое наше воспитание-образование — своих прав не знаем.

— Эх ты, — говорит, — Дунька — бубны-kozyри! Какое у тебе происхождение?

— Обыкновенное у меня происхождение... крестьянское у меня происхождение...

— То-то, — говорит, — и оно... Эта, — говорит, — и есть по нашему время козырной туз, и ежели им скозырнуть вовремя — бо-о-ольших делов навертеть можно! Компрене!..

Вижу я: добивается человек своего, всем им, кобелям, одноё нужно, но добивается тонко по-образованному, не то, что Андрюшка какой-нибудь, медведь гололобый, — опять-таки полезный человек, и, может быть, сама судьба посылает его на мой жизненный путь, и так иной раз раздумаюсь над его словами, так раздумаюсь, — до слёз, голову заломит от невозможной мысли. Сам он, конечно, очень уж рябой из себя был, лицо будто птицы поклевали, и вся тело у него белая, как из муки, — конечно, мо-

ется почём зря каждый день. «Как, — думаю, — тут ловчее поступить? Кинуться мне за него замуж — счастье своё выведать, стравить одёжку кое-какую, а там и разойтись можно. Да ведь тоже нелёгкое дело замуж броситься даже по советскому браку!..» И решила я повести с ним тонкую политику и посулов ему всяких надавать — посул-посулом, а там видно будет... Чую только одно, что вот оно — совсем рядом моё счастье ходит, а взять не умею, нипочём одной те взять.

А тут и подвернись эта самая девочка Синенкова — пятнадцать лет ей всего и было, и в школе она ещё училась. Пришла к Клавдии Ивановне на приём, упала ей в ноги и говорит: «Если вы меня не спасёте от позора в пятнадцать лет родить, — останется мне бросаться в Москва-реку с Устинского моста». «Раздевайтесь, — отвечает Клавдия Ивановна дрожащим голосом, — сейчас посмотрим ваше горе, а только вы, — говорит, — не волнуйтесь, бывает в ваши молодые годы, что не приходит то, что вам надо, но внутренней причине, а не по вашей вине». Я, конечно, тут же стою, и вспоминаю, что у меня тоже с самого приезда в Москву ничего такого нету, да и было, может, один раз, — однако, принесла Клавдии Ивановне мыльной воды, стоит она — руки моет, а девочка Синенкова снимает с себя синее платье, шляпочку сняла, под шляпочкой косичка с бантиком, — в куклы бы играть, а она, сволочь, вон какими делами занимается... Ну, скажи ты мне, Грунюшка, до чего разврат по Москве пошёл! Посмотрела Клавдия Ивановна на неё и говорит печально:

— Факт на лице, и беременности вашей уже четвёртый месяц. Как же вы, — говорит, — нагуляли аборт так неосторожно, теперь и сделать ничего нельзя?

Сидит она на стульчике без рубашки, дрожит, и вижу: очень боится. Подняла на Клавдию Ивановну свои детские глазки, а глазки-то словно серпом подкошены:

— Что ж мне теперь делать? Очень помирать не хочется в мои молодые годы!

— Зачем же, — отвечает Клавдия Ивановна, — помирать? Не надо помирать! Родится у вас ребёнок, выйдете замуж за отца вашего ребёнка, и, может быть, очень счастливы будете?

— Замуж, — говорит, — я за него пойти не могу. Он — сам всего шестнадцать лет имеет, без совершеннолетия, — говорит, — живёт, и на даче надо мной насильничал...

— Вот, — тут Клавдия Ивановна ко мне стала говорить, — видишь, — говорит, — Дунюшка, моя дорогая, какие весёлые штучки наша городская жизнь доказывает... Единственная, — говорит, — правда на земле только и есть, что в ваших цветочках...

Пока разговаривали мы с нею так-то, Синенкова — гляжу — одевается торопливо, шляпочку дрожащими руками надевает и к двери, а сумочку свою на столе забыла...

— Барышня, — говорю, — сумочку забыли!

— Возьми, — отвечает, — себе, не надо мне теперь сумочки!

Клавдия Ивановна, как услышала про сумочку, стала с лица белая, как бумага, стоит, невозможно дрожа, и губы кусает. Только та за дверь взялась, — она как вскинется:

— Гражданка, постойте!

Барышня Синенкова остановилась у двери, головкой к косячку услонилась, вот-вот упадёт, и смотрит поверх плеча, а ничего не видит, — мутный у неё взгляд, елозит, словно не живой...

— Хорошо, — говорит Клавдия Ивановна, — оставайтесь! Дунюшка, выйди!

Заперлись вдвоём в комнате, делают горькое своё дело, и слышу я в передней, как стонет та девочка Синенкова через зажатые зубы, и вода капельками в таз стекает, и так мне страшно стало, так стало страшно, милая ты моя, — зуб на зуб не попаду, сижу, как мышь в мышеловке...

Проводила её потом на извозчика, синяя она с лица сделалась, словно оципанная курица, шепчет тоскливо:

— Всё, — говорит. — Вот, — говорит, — тебе записка, сходи ты к нему, вызови его во время перемены уроков, скажи ему, что видела, скажи ему, какой он мерзавец...

— Трогайтесь, — отвечаю, — за ради бога! — Вижу — извозчик одним ухом приникает, да и Платон Петрович на лавочке сидит и глазом мне нахально моргает. И только мы ту барышню Синенкову и видели. Слышно было — умерла она в больнице.

И первый же Платон Петрович и сообщил мне, как громом, эту печальную событию.

— Умерла, — говорит, — ваша пациентка-то... Финита... Умерла, — говорит, — в больнице в нечеловеческих мучениях, а вас, сволочей, не выдала... смолчала.

Побелела я вся не хуже Клавдии Ивановны.

— Что ж, — говорю, — товарищ дорогой, раз вы знаете, — скрываться нечего, а я подневольный человек, и очень эти аборты осуждаю, никакой пользы от них бабе нету; сегодня, скажем, сделали тебе аборт, завтра опять сначала, я, — говорю, — даже неединократно ей говорила, но только она меня не слушает, и чешет аборты почём зря... Конечно, — говорю, — двадцать рублей за аборт — цена хорошая...

— Так, — говорит он взволнованно, — значит, и вправду делает аборты твоя хозяйка. Ты не должна забыть свои слова, и повторить следователю по народным делам, он, — говорит, — бесприменно твоими словами должен заинтересоваться... — а сам пальцем по лавочке стучит. Очень дошлый был человек, этот Платон Петрович, — хоть и банщик, а всё наскрозь понимал.

Однако, всё бы тем и кончилось. Никакие следователи по народным таким делам не приходили, шло всё по-старому, а я Клавдии Ивановне и вправду в тот же вечер сказала начистоту:

— Лучше бы, — говорю, — бросить вам аборты. Догадываться на дворе начали, и Платон Петрович ехидные вопросы задает.

Усмехнулась она в ответ беззаботно и доказывает мне, что никаких у него явных фактов нету, а: «Очень, — говорит, — на нашу комнату он глаз не сводит, так и шипит на нашу комнату, потому что сам в подвале живёт, да и тот загадил по пролетарскому своему происхождению. А ты с ним, Дунюшка, подальше. Если что — молчи!» Однако, всё же задумалась, стала своим пациенткам отказывать. Просют её, бывалача, умоляют слезами, а она стоит жестокая и отвечает равнодушно: «Не хочу за вас в тюрьму идти. У вас, — говорит, — трагедия жизни, а мне за вас в тюрьме сидеть!» И зачастую с того время куда-то по вечерам ездить, поймала я её: раза два выпимши пришла, а ещё какой-то порошок зачала нюхать, а он хуже водки... И стала у нас в доме пустота, только мыши скребутся за обоями, сижу я одна, играю на граммофоне или мечтать примусь о своей судьбе, а она и вот она — судьба-то! За плечом стоит. Мишенька-то ейный очень внимательно на пазуху мою глядит. Так и жжёт глазами по груди. Клавдии Ивановны дома нету, а он — обратно — начал дома больше пропадать. Придёт будто нечаянно пораньше, кофе пить меня зовёт, наливаю ему кофею, а он нахальными глазами на грудь упирает. Или за гитару возьмётся, поёт неединократно про чёрные очи, а потом ухватится за мой палец и говорит задушевым голосом, словно какую роль играет: «В тебе, — говорит, — святая непосредственность живёт, мне жена про то сказывала». Трудно, конечно, мне его слова понимать, подход его, то есть, но, а чего он добивается — сразу видать. И решила я посоветоваться с Платоном Петровичем.

— Как, — спрашиваю, — Платон Петрович, — быть мне в таком удивительном случае? Хозяйка моя после барышни Синенковой порошок нюхает и дома не сидит, а муж ейный за гитару взялся и про чёрные очи поёт... Но только знаю я, чего он, подлец, дожидается?

Усмехнулся он загадочно:

— Эх, — говорит, — Евдокия Степановна, рази я профессор какой, бесплатные советы давать... Что ж мне от вашего жизненного пира останется?

— Друг, — отвечаю, — вы мне, ай нет? Там посмотрим, что останется... — а сама к нему плечиком, словно не нарочно. Плечиком его так и жму... Все они, подлецы, глядят цветок своего удовольствия сорвать...

— Вы, — говорит, — нимфа, и могу я вам стихи написать собственного сочинения, не хуже товарища Пушкина, но раз дело так далеко заходит — скажите антренус: согласны вы брачный союз по кодексу советских законов заключить, потому что я, — говорит, — когда десять человек в день вымою, а когда и пятнадцать по семьдесят пять копеек за тело... Одному, — говорит, — жить невозможно скучно, я могу и пятнадцать телов в день пропить, когда на душе заботы нет... Мне обязательно заботиться о ком ни на есть, а надо... А сейчас для кого я живу? Я, — говорит, — уж тогда обо всём бы за вас озаботился: живёте вы почти целый месяц, а в профсоюзе не состоите, и каждая буржуазная шпана почём зря на прозодежде обдувает и сорокадвухчасовой еженедельный отдых отнюдь не представляет для культурных целей... Но это, — говорит, — всё одно, что деньги в банк, всё судом требовать можно...

— Как, — говорю, — требовать, — а сама — веришь ли, милая? — затряслась вся: золотые слова человек говорит, и всё одно, вижу, Клавдии Ивановне уж не уйти, потому знает он всё и своего добьётся, а я на пустых шишках останусь, — из-под носа вырвет. — Как, — говорю, — требовать?

— Я, — отвечает, — вам всё одно ничего подобного не расскажу, потому что я словом связан, но только ей в тюрьму обязательно идти. Поступило на неё от одного известного мне человека заявление, а если, — говорит, — он, мерзавец эдакий, насильничает над вами с применением психического воздействия и чего доброго палталоны ваши разорвёт, — только вы обязательно палталоны носите, как вещественное доказательство, то, — говорит, — опосля всего разбейте вы окно и кричите пронзительно, и тогда его тоже в тюрьму, экскузей года на три, а там, — говорит, — войдёт катастрофа в мирные берега жизни — будет видать, каким боком подвигаться, и с какого туза козырять...

Сказал он роковые эти слова — словно молнией меня осенило. Вот, — думаю, — куда ты метишь? Вот чего добиваешься, веник ты банный? Чтоб её в тюрьму, да его в тюрьму, а тебе чужой комнатой завладеть! Веришь ли, Грунюшка, сижу на дворе, день летний, а меня трясёт, будто в крещенский мороз. Как далеко человек видит! Вот тебе и консоме! Ну, однако, не сказала ему ничего такого, — мало ли как и что обернётся, раз такая катастрофа наступает, — распрощалась с ним отлично, вздохнула даже, — как будто и я, мол, тоже страдаю, а сама домой и принимаюсь своего хахалю ждать. Перво-наперво в ванне помылась, нашла у Клавдии Ивановны палталоны, попудрилась ейной пудрой и села у окошечка — лузгаю семечки в полоскательницу, а сама слушаю, как моё сердце на весь дом стучит. А он и вот он!.. Позвонил неверным звонком, враз поняла: пьяненький ползёт, обязательно, — думаю, — сегодня же всё начистоту обвернуть, время приступило такое, что час один жалко... И вот как вспомнишь теперь: как я тогда за судьбу свою боролась, как счастье своё ковала — даже страшно становится, и жалко себя невыразимо: столько я тогда перестрадала и передумала, изнервничала, как кошка какая... Бегу на звонок, отпирать, а он — в шляпе на ухо, стоит и на меня во все глаза глядит, а вижу: — примечает плохо, пьян очень, и пальто в пыли, — упал где-нибудь...

— Барыня, — спрашивает, — дома?

— Нет, — говорю, — с утра в Останкино уехала, а вам наказывали к вечеру за ними приехать, а не приедете, — останутся там ночевать.

— Ну и пусть, — бормочет, — хоть разночует...

Конечно, и случай очень подходящий, — ну, право, я думаю, — сама судьба была на моей стороне, и платон-петровичевы думы про квартиру и про всё не дала ему, подлецу, в жизнь провести... Помогаю ему, конечно, снять пальто, а он, слова не говоря, стрёб меня за шею, и ртом в щёку...

Охнула я:

— Что вы, Михаил Васильевич?

А он уж распалился, дышит мне в глаза и ничего не понимает, что ему на язык идёт. Мужики они всегда в это время очень глупые становятся, будто тетерева проклятые, право, — глаза вылупят, а ничего не видят, говорят что-то, а что, и разобрать толком невозможно, самое первое, что придёт в голову, лишь бы своего добиться. Стал он меня на сундучок подвигать, коленками подталкивать, и всё норовит положить. Ну, думаю, вывози, Дунька, своё горемычное счастье! Опять же не девка я, какой особенный риск, никакого риска нету, — но для вида, конечно, борюсь с ним, отталкиваюсь, за шею его ухватила, будто не даюсь, а сама прижала — дошёл он, подлец, до точки, палталоны в куски изодрал и повалил... И только кончил гнусное своё дело, стоит и подштанники на нём неприбранные, ка-ак закричу я на голос, а Платон Петрович и вот он, прямо дверь срывает, а я и не закрыла их на крючок-то на всякий случай... Ворвался он, как гром, в переднюю комнату, я вся растерзанная на сундучке лежу и плачу горько, кричу: «Нарушил он меня, насилие надо мной совершил!» — Михаил Васильич стоит, трясётся, отрезвел сразу, а Платон Петрович скрестил руки на своих грудях, будто вождь какой, и говорит:

— Картина, — говорит, — достойная кисти Айвазовского... Вы, гражданин, уберитесь и подштанники свои мерзкие к животу подтяните, а за всё-то предстанете вы перед пролетарским судом в самом скором времени...

Да и бросился скорей к председателю домового комитета, — чтоб сейчас же в протокол написать, как произошло его гнусное насилие. Минуты через две идут вдвоём, председатель револьвер на пояс нацепил, а я в разорванных палталонах на сундучке валяюсь, даже платье не оправила, и так мне горько за свою девичью судьбу, за всю нашу бабью долю, так жалостно, что льются слёзыньки мои, как ручей, не слышу, какие слова утешения они говорят, смотрю, как дура, на электрическую лампочку, — Платон Петрович зажёт её для виду, не понимаю ничего и дрожу...

— Куда ж, — говорю, — я, крестьянская девушка, пойду? Кто ж меня теперь замуж возьмёт? Кому скажу про разбитое блюдце? Одна мне дорога, как барышне Синенковой.

А председатель очень рассудительный был человек, и чёрный, как жук, и всегда с портфелем ходил — и говорит:

— Подождите, гражданочка, волноваться, будьте благонадёжны, враги пролетариата дадут ответ — и за вас, и за барышню Синенкову, а сейчас, — говорит, — всё своё мужество соберите в сознательность... Я, — говорит, — сейчас вам жену пришлю, она, как женщина, скорее вас успокоит!..

И вправду — приходит в скорости его жена, замечательная разговорчивая женщина в красном платочке, и тоже с портфелем, — делегаткой служила в женотделе... А к нам, словно на пожар, уж остальные жильцы в квартиру лезут, всякому, конечно, лестно посмотреть, какую над женщиной насилию совершили. Ну, однако, выставила она всех решительно: «Тут, — говорит, — не базар, а кошмарное уголовное дело!», и даже ночевать на тоё ночь у меня осталась. Очень она ухаживала за мной, как мать отнеслась, всё по головке гладила, и от ласки той ещё обидней мне стало — вот, думаю, какая наша девичья незадачливая судьба!..

— Вы, — спрашивает она меня, — родственницей, что ль, им приводились?

— Нет, — отвечаю, — никакая не родственница... а помогала по хозяйству заместо прислуги.

— Та-ак, — а сама всё пишет в блокнот, запишет и на меня выразительно посмотрит, — и сколько же вам платили жалованья?

— А ничего, — говорю, — не платили...

— Очень, — и тут даже засмеялась она, — очень, — говорит, — интересно получается... тут использована ваша материальная зависимость, и лишний раз мы убеждаемся на том малом примере, что наши классовые враги не дремлют, а рвут по кусочку везде, где бог пошлёт...

Карандашиком по блокнотику стучит и смотрит на Михаила Василича, как кошка на мыша. А тот — как сел, недотёпа, на диванчик, — сидит словно пришитый. И по всему его лицу пятна волной переливаются, словно на нём рожь молотили. Очень у него печальное было лицо, и жалко мне его стало очень, да ведь их, кобелей, за такое поведение тоже жалеть не приходится.

Спрашивает та женщина опять:

— Если у вас теперь ребёнок будет — куда вы предполагаете поехать? В деревню?

— Тоись как, — говорю, — в деревню? Да моего, — кричу, — тятеньку в хомут оденут. Да мне в деревне житья и того не дадут! Нет, уж коли так дело поворачивается, и правды мне не найти — я с моста, — говорю...

— Милая вы моя, — отвечает она ласково, — очень вы меня превратно поняли. Понимаю: косность вас держит и к свету не пускает. Но с этого дня можете на меня положиться, это, — говорит, — моя обязанность женщине открывать глаза и рабские оковы с неё снимать. Вы, — говорит, — теперь ничего не бойтесь и взирайте спокойно, — царское время девушек насиловать прошло, а молодым матерям в воду сигать тоже... У нас теперь женщина всегда на переду: в трамвае ли, в очереди за галошами, так, — говорит, — и в жизни...

Услыхал эти справедливые слова Михал Василич, встаёт, конечно, молча и в переднюю комнату за американской своей шляпой. Оделся и ушёл.

А утром и Клавдия Ивановна приехала. Входит такая розовая, — беды, конечно, своей не чует, на жизнь взирает спокойно, а я как обхвачу её за холодные коленки, как заплачу на голос:

— Милая вы моя, дорогая вы моя, я вам счастье принесла, а вы мне несчастье подарили! Молодая моя жизнь в вашем доме безвозвратно разбита, и опозорена я навсегда, и одна мне дорога, как барышне той...

Сразу она с лица переменилась, спрашивает меня страшным топотом:

— Что ещё случилось? Какое несчастье?

— Снасильничал, — говорю, — надо мною Михал-то Василич ваш... И все слышали, и женщина с портфелем на вашей кровати ночевала, а Михал Василич вчера из дому ушёл и посеичас не воротился...

Опустилась она на сундучок, ноги, должно быть, подкосились, слова сказать не может, и лица на ней и того нету. Бормочет слабым голосом непонятные слова:

— Всё, — говорит, — одно, — говорит, — к одному теперь... Одно к одному!

Словно пташка какая решающего своего выстрелу дождалась. И так мне жалко стало её в ту минуту безысходного печального горя, что сижу я с ней рядышком и плачу навзрыд, будто маменьку хороню. Плачем обе над женской нашей бедой, а я, между прочим, и говорю:

— Вот какая печальная будет теперь моя жизнь! И что только Михал Василич надшутил?... А если, не дай бог, ребёночек...

Сказала я про ребёночка — она даже затряслась вся.

— Почему ж, — говорит, — тебе такое счастье, а мне нет?

Но только не поняла я: — к чему она про счастье своё вспомнила в ту безысходную минуту? А к вечеру сидим мы печально вдвоём, словно у нас кто умер: во всей кварти-

ре — страшная тишина, и всё чудится, что по углам кто-то ходит, одна на другую глаза поднять боимся, молчим каждая про свою думку, а он и вот он — Михал-то Василич! звонит! — и не пьяный звонит: всегда я по звонку угадывала, какой он... Твёрдо звонит. Решительно палец в передней снимает, помочь хотела — рукой отвёл, а в комнаты вошёл — оробел сразу, стал под двери. И вижу я: Клавдия Ивановна поднимает на него измученные глаза, и подбородочек у неё зашёлся, трясётся в слёзной истоме...

— Мишенька, — говорит, а сама словами давится, — вся наша жизнь теперь разбита... Нету у нас жизни, — три жизни ты загубил, а за что?

Он шляпу в руках вертит, пальчиком пыль сбивает, а потом бросил шляпу на канапе, под ногтями чистит и вздыхает.

— И всё бы, — говорит она опять, — я тебе простила, ради большой моей любви, потому, — говорит, — в моей любви вот она вся я — и как живу и как дышу! А люди нас с тобой не простят: далеко, — говорит, — твой порочный круг раскинулся и сомкнётся он над вашими несчастными головами...

Заблестели у него глаза, и, — слышу, — голос будто не его уж, а решительный и серьёзный, и говорит он так:

— Знаю я единственный выход из мёртвого того тупика... Я, — говорит, — всё за эту ночь на московских улицах продумал, и не отговаривай ты меня, — я навсегда решился!

— Какой же выход, Мишенька? — спрашивает она тихим голосом.

— Осталось мне только одно, — и головой отчаянно трясёт, — сойти с жизненной дороги без сожаления, умереть, как последнему псу! — шёпотом сказал, очень страшно это слово сказал. И тут же зарыдал, в коленки ей бросился, обнял коленки, и елозит по ним забубённой своей головой. Очень печальная была та минута.

И пошли у нас тут дни, словно в тюрьме, и словно мы — каторжники, прикованы к одной колодке — связанные своей судьбы дожидаемся. Клавдия Ивановна всё ходит, бывалача, по квартире и поёт тоненьким голоском: «Как печально камин догорает...» У меня из рук всё валится, ни за что взяться не могу. Выйду на двор тоску развеять, а там Платон Петрович загадочно сидит на лавочке, и опять мне разные намёки делает.

— Очень, — говорит, — недолго осталось вам свою судьбу искушать, — и ей, — говорит, — в тюрьму идти, и ему, — говорит, — туда же. Как же тогда вы управляться будете, Евдокия Степановна?

— Ох, дорогой товарищ, — отвечаю ему, бывалача, — не говорите мне про то, не бередите нашу несчастную рану, — а у самой во-о как сердце жундит — чтоб он рассказал то, что и к чему? Да рази им, кобелям, можно чтоб девушка доверилась. Будя — обожглась на Михал Василиче — на Платона Петровича стала дуть. А как в самом деле мне управляться? Ай я затем в Москву приехала, чтоб пузо носить? И стала я тут сумлеваться: уж впрямь не сделал ли Андрюшка альбо кулёма этот пузо: как приехала в Москву — всё нет и нет того, что надобно.

— Ах, — скажу, — Платон Петрович, моете вы в день десять человек, а когда и пятнадцать, и на всех языках слова говорить умеете, и видать, что учёный человек, — зачем тёмную девушку в секрете держите? Какую тайную мысль имеете?

— Я, — отвечает, — учить — учу, а тоже и о себе забочусь.. А вы, — говорит, — сейчас в роскошном положении жизни находитесь, и загордели, — слово когда вечером сказать, и то вас нету!

Ну, только все откровенные те происки остались ни к чему. Начались тут суды, — что ни день, то суд. То его тянут в милицию, то её к следователю, то меня показание давать, — совсем я с теми судами затормошилась. И очень мне жена председателя тут помогла. Волновалась, за меня душевно беспокоилась, словно я ей дочь родная. Так, бывало, и чешет самоотверженно следователю:

— Нынче тёмные предрассудки ликвидированы! Кончились рабские времена раз и навсегда! И если, — кричит, — у всех на глазах женщин будут почём зря насиловать — не построить нам здание увек!

Очень складно у неё про здание выходило, и ещё про платформу!

Клавдию Ивановну ещё до суда арестовали. Пришли днём два товарища из милиции и спрашивают очень вежливо: «Вы будете гражданка Сеткина? — а если вы — пожалуйста с нами на минуточку». С той минутки она и не вернулась. И я же ей рубашечку в Бутырку носила, — и видела: шла она по коридору — тоненькая, словно девочка, глаза одни страшные большие горят, запали глаза, как у покойника.

— Страшно-то как, — говорю ей.

— Ничего, — отвечает, — ничего не страшно, есть, — говорит, — и ещё суд, — и ручкой себя по сердцу, — он куда пострашней будет!..

А как вызвали нас в суд — пошли мы рядышком с Михал Василичем. Небри-тый он, в пальтишке, воротник поднял, людям в глаза не глядит, будто у него на лбу вся его преступления написана. Пришли мы, народу, конечно, очень много, говорят нам: «Снимите ваши пальты, и скажите нам, по какому делу вы будете?» Михал Василич отвечает с горькой своей усмешкой: «По делу акушерки Сеткиной — горемычные свидетели!» «А тогда, — говорят, — пожалуйста вот сюда, и тут в спокойствии дождитесь — вас обязательно вызовут». И верно — вскорости позвали в большую залу, а там перед столом стоит Клавдия Ивановна, и за ней красноармеец с саблей наголо, а судья и говорит нам: «Пролетарский суд предупреждает вас говорить всю правду, свидетели, и должен вам наперёд сказать, что за неправду вас самих судить будут. А теперь, — говорит, идите в комнату, вас позовут». Вышли мы, но только меня сейчас же назад кличут и одноё. И спрашивает судья:

— Где вы познакомились с гражданкой Сеткиной?

— У нас, отвечаю, в Зелёной Слободе. У нас ейный отец двадцать лет священником состоит. Этим летом подружился мы с ней, как подружки...

А судья еронически перебивает:

— Как же вы, гражданка Сеткина, своё происхождение укрыли? Суду, — говорит, — очень интересно узнать, что вы — дочь служащего культа...

Распрашивали нас до позднего вечера, — и про барышню Синенкову, и про аборт, и как жили, и что ели, — ну я, конечно, вижу: всё сами знают, стала говорить, как плакали у меня на сундучке абортистки, и как убивались они и руки Клавдии Ивановне целовали, а потом встал прокурор и стал говорить речь. И такое наговорил он про Клавдию Ивановну, что ахнула я!

Тут же её, суку, на три года присудили и чтоб прямо из зала в тюрьму. Сижу я, а чувствую, что жжёт она меня своими глазищами, трясётся вся, того и гляди по-матерну за мои справедливые слова облает, однако, смолчала, глазами повела и ушла.

А пришли мы домой, хахаль-то мой горький, Михал Василич, спрашивает меня, конечно, с горькой усмешкой:

— Дунюшка, за что ты Клавдиньку утопила? Ай, она тебе беду сделала? Ай, она не вытащила тебя в город на хорошую жизнь? Есть у тебя бог, ай нет?

— Про бога, — отвечаю, — лучше помолчим, Михал Василич. Много, — говорю, — в вашем доме я счастья видала? Стирала, готовила на вас, а вы мне жалованье платили? Какую прозодежду давали? Какой отпуск представляли? Только, — говорю, — делов ваших, что беременная от вас стала...

— Что ты! что ты! — руками машет, как оглашенный чёрт, — невозможно, что беременная ты!

— Очень, — отвечаю, — возможно, факт на лице...

Затрясся он, шипит на меня шёпотом:



— Что ж, значит, и меня губить будешь? Меня, — и даже плачет, — нельзя губить, у меня талант погибнуть может!..

— Мне, — отвечаю, — на ваш талант наплевать, Михал Василич! — Очень я тогда свою силу почувствовала и смелая стала — стр-расть! — У меня, — говорю, — может быть, десять талантов пропадает, и мы про то не знаем! Нельзя безнаказанно пролетарское здание разбивать!

Молчит и головой трясёт. Синий с лица стал, нехороший...

Но только вскорости и его вызвали в суд...

Спрашивали нас, спрашивали, жена председателя тоже всё рассказала и волновалась, Платон Петрович на мою мельницу доказывал, а как выложили всё до точки, тут прокурор и говорит: «Прошу в виду ясности дела взять гражданина Сеткина под стражу!» и начал своё слово держать.

И присудили они Михал Василича на три года, и чтоб со строгой изоляцией, а отсидит, чтоб из Москвы уехал, и жить тут не смел, а мне говорят, чтоб я с него требовала на содержание ребёнка, и что на всё квартиру наложат арест, чтоб всё на ребёнка шло. Председателя жена взволновалась ужасно: «Об этом, — говорит, — товарищи судьи, вы не сумлевайтесь, об этом наш долг позаботиться, всем правлением решили сеткинскую комнату ей с ребёнком предоставить, а раз на имущество, — говорит, — наложен по алиментам арест, то это очень предусмотрительно, пусть живёт, а я ей службу найду»... И ласково берёт за моё плечо и ведёт из суда. А я иду, как во сне, и поверить не смею... Пришли мы в эту комнату, плачу я, разливаюсь — неужели пришла моя мечта, и всё роскошество — моё, и что Михал Василич будет всё жизнь на ребёнка платить, — плачу, конечно, от радости и говорю председателевой жене:

— Как же мне теперь быть? Прямо не верю своему счастью! И если, — говорю, — маменьке на деревню написать — тоже не поверит.

— Что ж, — отвечает, — и горя много было, но теперь, — говорит, — надо в профсоюз записаться, чтоб из тебе выдвинулась на платформу сознательная гражданка, а не шатай-валяй!..

— Господи, — отвечаю, — не только в союз, полы вам каждую неделю буду мыть...

— Этого мне не надо, — строго мне говорит, — я по долгу делаю, а не за интерес...

И стала я жить одна, и потекла моя жизнь роскошно. Продала ейные инструменты по абарту соседней акушерке, шубу его продала, запонки золотые, что он поминал, часы луковкой — живу, словно барыня. Встану утром, сварю себе кофею, или там чаю какого, и пойду неграмотностью заниматься. Записали меня, конечно, в союз и всё взыскали, что зажила у них, за прозодежду и за отпуск. Конечно, теперь мне родить приходится, но председателя жена говорит, что в городе на это государство смотрит и денег даёт, — не то, что моя маменька, бывалача, в поле под ракилкой родит и сама дитя домой тащит. Стала я роскошно жить — Платон Петрович и вот он. «Всегда, говорит, — вы мне нравились бесподобно, а что грех на вас есть, теперь, — говорит, — этого греха нету: аннулировано, и женчина большую слободу имеет: роди от кого хочешь, никому дела нету, только чтоб алименты платил аккуратно...» Очень большое счастье обещает Платон Петрович:

— Актёры, — говорит, — отнюдь не плохо зарабатывают, — не только ребёнку на молоко, и вам на мороженое хватит... А если вы согласитесь со мной законно расписаться, — возьму рабочий кредит, и всё тебя, как куколку, разодену...

Да только оставила я без внимания его лукавые речи.

— Что одеть меня, — отвечаю, — посул даёте, так я, — говорю, — и так Клавдии Ивановны платья ношу, хорошие платья, и жёлтенький жакетик по судебной описи мне достался... Нет, дорогой Платон Петрович, очень я в городе поумнела, и проле-

тарское моё происхождение не позволяет мне заключать брак по расчёту... моя мечта дальше идёт!

И задумала я Андрюшку в Москву выписать. Всё ж таки — рожу, а ведь неловко ребёночку без родного отца быть.

И вот какая моя к тебе, Грунюшка, будет окончательная просьба. Приедешь ты на Зелёную Слободу — скажи ты ему, чёрту гололобому, чтоб ехал сюда, и об жизни не беспокоился, потому моя мечта вывезла наперёд его, и что пиджак михалвасиличев я ему сберегла и портсигар серебряный тоже пока не продавала...

1926 г.